

А. СОЛЖЕНИЦЫН

НЕВИДИМКИ

(“Бодался теленок с дубом” — Пятое Дополнение)

В 1975 г. в издательстве «УМСА—Press» вышла книга А. Солженицына “Бодался теленок с дубом”. В состав ее, однако, не вошло Пятое Дополнение — “Невидимки”, написанное автором в 1974-75 годах в Швейцарии, сразу после изгнания. Эта глава — о грузьях и помощниках, кто был рядом с автором в его писательском подполье. Более ста человек, упоминавшихся в “Невидимках”, — не могли быть тогда публично названы, ради их безопасности.

Теперь мы печатаем один из четырнадцати очерков этой главы.

Очерк 9

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА СТОЛЯРОВА

Когда в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге намечено было революционерами взорвать дачу Столыпина и так убить его вместе с семьей (и убили три десятка посетителей и три десятка тяжело ранили, с детьми, а Столыпин остался цел), — одна из главных участниц покушения, “дама в экипаже”, была 22-летняя эсерка-максималистка Наталья Сергеевна Климова, из видной рязанской семьи. Она была арестована, вместе с другими участниками покушения приговорена к казни. Сама Климова не просила помилования, но это сделал за нее отец, ни много ни мало — член Государственного Совета. По его просьбе император помиловал двух участвовавших женщин — Наталью Климову и Варвару Терентьеву, купеческую дочь. Заменили им на вечную каторгу. (В ожидании казни Наташа Климова написала на волю

предсмертное письмо, которое было позже напечатано и вызвало печатный же отзыв С. Л. Франка: оно “показывает нам, что божественная мощь человеческой души способна преодолеть” даже страдания от неотвратимости насильственной смерти, “эти шесть страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма“.) Начало срока Климова отбывала в Новинской тюрьме в Москве, там скоро очаровала и духовно подчинила надзирательницу — и с ее помощью устроила знаменитый “побег тринадцати” женщин. (В советское время был написан киносценарий об этом побеге, но съемка запрещена, так как среди беглянок не было ни одной большевички.) На воле уже их ждали. В ночь после побега Климову отвезли в дом либерального адвоката, где она и жила в безопасности месяц, пока жандармы стерегли рязанский дом Климовых и имение. Затем она приняла облик глубокого траура, и адвокат проводил ее на поезд, идущий в Сибирь. Она перебралась в Японию, а оттуда поплыла в Лондон — к Савинкову, снова в Боевую Организацию (террористическую). Под Генуей на “даче амазонок” собирались бежавшие из Новинской и другие политкаторжане. Тут она вышла замуж за революционера-эмигранта Ивана Столярова, родила от него двух девочек. В 1917 он уехал вперед, в петроградское кипенье, оставив жену беременной. Но третья девочка вскоре после рождения умерла от испанки, двух старших мать успела выхаживать, но сама тоже умерла.

Настолько тесно сходилась тогда в Париже вся революционная Россия, что нашелся из той же Рязани, с той же улицы, из соседнего дома сын рязанского судьи Шиловский, тоже политэмигрант, меньшевик, который удочерил и воспитал девочек (старшая из них — Наташа). Хотя говорят, что две любви не уместятся в сердце, у Наташи уместились и полночувственная любовь ко Франции и пронзительно-преданная к России (не к революции, которой служила мать). В начале 20-х годов, 11-летней девочкой, Наташа ездила в гости к отцу в Петроград (тогда это возможно было, еще и в Рязани центральный сквер тогда звался именем Климовой — родной дом ее непода-

леку, у того сквера) — и загадала, что непременно сюда вернется, — вот, когда ей будет 20 лет. Сестра ее Катя, оставшаяся во Франции, говорит: Наташа очень повторяла мать — яркостью характера, благородством всеобъемных намерений, высокими движениями души и вместе — взбросчивостью к действию, дерзостью в совершении его. Так и свой замысел — вернуться на родину, она провела неуклонно, при трезвых отговорах и справедливых огорчениях парижского эмигрантского круга: когда не ехал никто, когда это было безумием явным — в декабре 1934, сразу после убийства Кирова! (И — никогда не пожалела, даже в лагерной пропасти, а тем более теперь, уже и свои руки приложив к возрождению духа страны. Если б, как она, миллионы теснились бы так — в огонь и в опасность, может текла бы наша история побыстрее.)

Отец Наташи уже был и сослан под Бухару в эсеровской куче, и вытащен оттуда Е. П. Пешковой (она и сама была эсерка в прошлом), теперь встретил дочь, — а на расстрел арестован уже после ареста дочери. Наташе дали все-таки два года если не России, то советской воли, арестовали в 1937 (добровольное возвращение в Союз? конечно шпионка; ну, не шпионка, так контрреволюционная деятельность). В первой же лубянской камере она встретила... товарку своей матери по побегу из Новинской тюрьмы! прошла жестокий общий путь (и он — не соскользнул с ее души, не забылся, горел) — и особенно жестко достался ей слишком “ранний” возврат на волю, в 1946, когда еще никто не возвращался, еще это было непривычно слишком, не готова была советская воля принимать отсидевших зэков. После многих злоключений она в 1953 сумела (и то — ходатайством Эренбурга и других влиятельных лиц) получить право поднадзорного житья в родной Рязани, откуда мать так легко ушла на революцию. Преподавала здесь французский. Годы ушли у нее и на бурную личную жизнь и, наверно, сама она еще не подозревала, что прикоснется ко взрывным действиям против советского режима.

Потом облегчалось время — разгибалась и Наталья Ивановна. В 1956 переехала в Москву; дочь Эренбурга (с которой Н. И. училась в одной школе в Париже) угово-

рила отца взять Н. И. секретарем. К нему как к знаменитости лились письма с просьбами, шли просители, и многие из них были бывшие зэки — так Н. И. пришлась очень к месту. (У Эренбурга и дослужила она до его смерти.)

В Рязани же бывший климовский сквер, в угрожаемой близости от обкома партии, горожанами теперь избегаемый и обкому ненужный, я застал безымянным, никакого следа никакой Климовой. Я узнал всю историю от самой Н. И., когда она объявила мне о нашем двойном землячестве: по Архипелагу и по Рязани.

Это сделала она весной 1962, схитрив (и невинная хитрость, и решительность — все ее): передала мне через Копелева, что нечто важное должна мне сообщить (а просто — хотела познакомиться; он объяснил мне, что — бывшая зэчка). То было время таинственных движений рукописи “Денисовича”, уже известно было, что в числе других, имеющих вес, читал Эренбург. (Никому только не известно, как он мог прочесть из первых, когда Твардовский меньше всего с ним собирался делиться. Все придумала Н. И. Прослышав о повести, она пошла в редакцию “Нового мира” и у Закса просила рукопись от имени Эренбурга. Закс поворчал, но такому имени отказать не решился. Посмотрела — а на первой странице новомирцами написанное: “А. Рязанский” — и ахнула. Тотчас отправилась к другу-фотографу — Вадиму Афанасьеву (“Кожаная куртка”, муж ее двоюродной сестры, он и для нас потом иногда работал, помогал). И лишь затем отнесла Эренбургу. — Бедный А. Т. не оценивал современных технических средств. И так запорхало по самиздату, к его недоумению и тревоге, к моей глупой тогда радости, на самом же деле — губительно-опасно для судьбы повести.) Теперь сообщение Н. И., очевидно, с какими-то новостями о движении рукописи, о мнении важных лиц? — и я довольно нехотя позвонил ей по эренбургскому телефону, как она предложила. Наталья Ивановна тут же настойчиво пригласила меня в квартиру Эренбурга. (Ничего не сказано было прямо, но из ее оживления и настоящего так можно было заключить, что ее патрон сидит там рядом и изнывает.)

Я пришел. Эренбург (которому повесть, кстати, сильно не понравилась) оказался ни при чем и за границей, но сидели мы в его кабинете. Н. И. сплетала какие-то новости, однако их явно не набиралось, чтоб оправдать мой визит. (А она, наверно, искала, как подбодрить автора?) На кого б другого я б рассердился тут, но на старую зэчку с сохраненным живым чувством нашего племени и памятью наших островов не мог. Да и она звала меня не просто подивоваться, но и — проверить, убедиться, насколько устойчиво во мне мое направление, насколько готов я к ближайшим для меня испытаниям, не отманят ли меня в сторону, не засиропят ли. Разговор наш сразу обминул литературные темы, стал по-зэчески прост, и я невольно переступил границы осторожности, обязательные для советского, а тем более литературного, передатчивого мира; коснулись восстаний в каторжных лагерях, услышал от нее: “Так об этом же всё написать надо!” — не смолчал, не плечами пожал, но приоткрыл: “Уже написано!” И в ответ увидел — вспышку радости. Уже на пороге, вполголоса от эренбургских домашних, напутствовала: не ослабнуть, не свихнуться на предстоящей славе. “Не бойтесь! — заверил я спокойно, — не свихнусь!” (Потом говорила: “Именно отсюда и пошла моя к вам преданность. Да с каким предчувствием? — выйду из квартиры, спущусь на марш — вдруг сильно тянет назад. Что забыла? вернусь — и ваш телефонный звонок. И так — несколько раз.”) Уж это-то я знал твердо, что славой меня не возьмут, на стену советской литературы всходил напряженной ногой, как с тяжелыми носилками раствора, не пролить. А вот сегодня — не пролил? не сказал лишнего? Говорило сердце, что — нет, что наша. Так и оказалось.

С установившимся между нами сочувствием виделись мы мельком раза два, существенного не добавилось, но доверие у меня к ней укрепилось. Странные у нее были сочетания: самых путаных представлений о мировых событиях — и неколебимого отвращения к нашему режиму; крайней женской беспорядочности, нелогичности, в речи, в поступках, — и вдруг стальной прямоты и верности, когда касалось главного Дела, четкого соображения,

безошибочно дерзких решений (это я потом, с годами, все больше рассматривал). Превосходного воспитания, чутко-тактичная, ненавязчивая, легкая — и надменно твердая перед ГБ (годами позже достались ей опять допросы, на Лубянке, только не нашу главную линию уследили).

Вдруг как-то через годок Н. И. со своими друзьями приехала в свою старую Рязань, заглянули ко мне. И почему-то в этот мимолетный миг, еще не побуждаемый никакой неотложностью (еще Хрущев был у власти, еще какая-то дряхлая защита у меня, а все ж не миновать когда-то передавать микрофильмы на Запад), — я толчком так почувствовал, отвел Н. И. в сторону и спросил: не возьмется ли она когда-нибудь *такую штуку* осуществить? И ничуть не поколеблясь, не задумавшись, с бестрепетной своей легкостью, сразу ответила: да! только — чтоб не знал никто.

Первороденное наше доверие сразу сделало скачок вперед.

Капсула пленки у меня была уже готова к отправке — да не было срочности; и пути не было, попытки не удавались. Но когда в октябре 1964 свергли Хрущева! — меня припекло: положение привиделось мне крайне опасным: острые зубы врага должны были быстро, могли и внезапно, лечь на мое горло. (Предусмотрительно приписывал я режиму его прежнюю революционную динамику, как рассчитывался он со многими до меня. Оказалось: динамика настолько потеряна, что для этого прыжка еще понадобится: до первого обыска — 11 месяцев, до первого решительного удара — 9 лет.) Известие застало меня в Рязани. На другой день я уже был у Н. И. в Москве и спрашивал: *можно ли?* когда?..

Отличали всегда Наталью Ивановну — быстрота решений и счастливая рука. Неоспоримое легкое счастье сопутствовало многим ее, даже легкомысленным, начинаниям, какие я тоже наблюдал. (А может быть — не легкое счастье, а какая-то непобедимость в поведении, когда она решалась?) Так и тут, сразу подвернулся и *случай*: сын Леонида Андреева, живущий в Женеве, где и сестра Н. И., они знакомы, как раз гостил в Москве.

Н. И. сощурилась и решила: попросит Вадима Леонидовича, уверена — не откажет!

Она назначила мне приехать в Москву снова, к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем. И вечером у себя в комнатухе, в коммунальной квартире, в Мало-Демидовском переулке, дала нам встретиться. В. Л. оказался джентльмен старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек, — и, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе — для русской литературы да и для советских лагерей, где и его родной брат Даниил долго сидел. (Уверяла меня потом Наталья Ивановна, что В. Л. считал такое предложение для себя и честью.) И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же, весьма приятная сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, не защищенные не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством (паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции В. Л. перешел в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину), — они брались увозить взрывную капсулу — всё, написанное мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до “Круга”! Да не знали, не вникли они, что именно там есть, но достаточно вникли, что — взрывчатое. И — везли, такое решение уже состоялось прежде нашей встречи.

Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни! Что грезилось еще в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным — вот совершилось обыденно тихо, в вежливом негероическом разговоре. Я смотрел на супругов стариков как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжелую набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понговского мяча, — приоткрыл, показал им скрутки — положил на чайный столик, у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же — о синтаксисе, о месте прилагательного

относительно своего существительного, о жанрах, о книге “Детство” самого В. Л., вышедшей в СССР и которую я читал. А Наталья Ивановна подбила меня рассказать о самом поразительном, что я в себе носил, — о лагерных восстаниях. Старики-женевцы слушали, изумленные.

И неужели вот так просто сбывается — вся полная мечта моей жизни? И я останусь теперь — со свободными руками, осмелевший, независимый? Уже *такой* остроты, *такой* опасности — никогда не повторится! Вся остальная жизнь будет уже легче, как бы с горки.

И дар такой принесла мне Наталья Ивановна! — *Ева*, как я стал ее вскоре зашифрованно называть. Случайность и даже лукавство было в нашей первой ненужной встрече у Эренбурга. А через такие неузнаваемые случайности врезалась лучами неизбежность: получить помощь от эческого континента, и от осколков разметанной эмиграции, и от Рязани, — от России.

31 октября 1964 года, через 2 недели после воцарения Коллективного Руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака В. Л., он не знал никаких приемов, — а таможенник, по паспорту, поинтересовался: вы не сын писателя? И дальше пошел разговор о писателе, досмотра серьезного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева. (Казалось тогда — благоприятной.) Ева провожала друзей, и те еще успели дать ей понять об успехе — переговариваясь с одной воздушной галереей на другую.

Когда через год провалился мой архив у Теуша, и следа уже не было прежней легкости от отправки, но вся жизнь, казалось, была погребена под навалом черных скал, я мрел на даче Чуковского, — вдруг к ужину как ангел светлый (но в темном поблескивающем платии) приехала к Корнею Ивановичу по какому-то делу — Ева! — да только что из Парижа, еще овеянная тамошней легкостью, еще не адаптированная снова к нашей собачьей хватке. Она не ожидала меня здесь, я не ожидал ее! Ее приезд был просто сверхчудом (опасаясь дать след, я не мог бы ни позвонить ей, ни приехать, а так нужна была живая ниточка — *туда*, в свободный мир!). Мы сделали

вид, что незнакомы, и Корней Иванович снова знакомил нас. За ужином Ева слушала, слушала о нагроможденьи здешних преследований и вырвалось у нее: “Да, в этой стране не соскучишься!” Это — сразу после Парижа (где могла она остаться навсегда), — но вот удивительно: опять без нотки сожаления и о своем нынешнем возврате! Потом надумал К. И. провожать ее на станцию, а мне-то надо было говорить с ней в этой вечерней тьме, секретно, — еле убедил я с полдороги К. И. и Люшу вернуться. А мы с Евой брели дальше на станцию, какой-то счастливый дождь на нас лил, мы говорили и уговаривались как всегда сбивчиво, с ней не сбивчиво нельзя, — и ощущение было просто небесной поддержки, такой всегда легкой, улыбчивой, бескорыстной.

Ева стала для меня — вторым воздухом. Только через нее моя подземная работа вдруг освещалась лучиком *оттуда* — как движутся *там* наши дела, перевод “Круга” на английский. Довольно было ей дать мне знать, выразить намерение, — мы встречались тотчас. И во всякий приезд в Москву я старался увидеть ее. Где только не вели мы с ней наших переговоров: то, встретясь будто бы случайно в книжном магазине в доме Эренбурга, бродили по проходным дворам и скверикам центра (так открыла она мне бахрушинский двор, где, не ведал я, с 70-го года будет жить моя будущая семья и откуда возьмут меня на высылку); то — бульварами; то — во дворе Петровского монастыря; то — приезжала она ко мне на дачу в Рождество, и мы отсаживались ото всех или уходили в лес, разговаривать привольнее. Необходимость стольких встреч, договоров, пере-уговоров и пере-пере-уговоров не столько диктовалась самим делом, сколько объяснялась свойствами нашей (она уже и с Люшей была *закорочена*) подруги: в живом разбросчивом разговоре, сама же нарушая его систему, она постоянно упускала что-то важное, потом тревожно звонила, что надо встретиться, — и выясняла (и то не окончательно) это упущенное. Я постоянно упрекал ее (а она — меня) в неосторожности, в опрометчивости, но вот поразительно: она путала во второстепенностях, а как наступало решительное — действовала четко, смело, куда все промахи? В самые опасные

моменты ее охватывало не только бесстрашие, но и крайняя “натуральность” поведения, — вероятно, как и у матери ее. (А как Ева читала готовый “Архипелаг”! — вот это ее стиль: потащила все три тома машинописи на свою службу — на квартиру Эренбурга. А он как раз в эти дни — да умер. Тут начнется — опись, комиссия? Кинулась уносить, жена Эренбурга задерживает: “Что выносите?” Вскипела: “Да неужели вы меня за столько лет не знаете, можете подозревать?!” Унесла.)

Напряженный темп *дела* очень гнал меня всегда, не хватало времени просто с ней поболтать или полюбоваться. Но эманациями ото всех, от многих встреч соединялось: какое прирожденное неусыпное благородство в ней (не допустить движения на низшем уровне), как она пронизана щедростью, как соединяются в ней — гордость, и ненавязчивость, и совершенная дружеская простота. Только “под потолками” не разговоришься (квартиру Евы, теперь в Даевом переулке, я считал весьма ненадежной, Ева свободно встречалась со всякими иностранцами и перезванивалась часто — а в этом-то и была ее дерзкая тактика открытости: иностранцы и французские дипломаты знали ее, и это укрепляло ее против властей).

Много раз я сталкивался с Евой в шутку, а то и серьезно, в оценке Запада. Высказывался я о Западе, по ее мнению, слишком хорошо — она разуверяла меня, бранила Запад, еще и сегодня с тою страстью, которая когда-то швырнула ее покинуть европейское благополучие и добровольно ехать на муки в Россию. Другой раз я почему-нибудь был раздражен на Запад, высказывался слишком резко, — почти с той же горячностью и даже крайностями она кидалась его защищать. И всякий раз главный ее тезис был: что я совсем не понимаю Запада и никогда его не пойму. Ева, правда, не отличалась стройностью политических взглядов. Она уехала из Франции уже 30, потом и 40 лет назад, хотя бывала наездами, и в самой Москве вот встречалась теперь со множеством иностранцев, уверена была, что сохраняет живое чувство Европы. Я — не был там никогда, но, ежедневно слушая несколько западных передач, не мог не составить тоскливого представления, что Запад падает волею, духом,

сознанием — перед большевизмом. Она высмеивала мои выводы, не допуская столь разительного изменения Европы.

Легкость руки Натальи Ивановны!.. В мае 1967, разослав 250 экземпляров “письма съезду писателей”, я отсиживался в Переделкине у Чуковского. Вот 11 дней прошло от письма, уже и съезд кончался, а — нигде на Западе не напечатали, не объявили. Откуда ни возьмись — Ева, на другой даче в гостях, но позвонила и мне, вызвала погулять. И похожего плана у меня не было, во мгновение у нее родилось: “А у вас есть лишний экземпляр? Давайте, отправлю сегодня!” (Она не без этой мысли и привезла в Переделкино французского искусствоведа Мориса Жардо, а у него хорошие связи с “Монд”, и она взяла с него обещание.) И через три дня письмо появилось в “Монд”, загромыхало — и кампания была выиграна! — Произошел ли казус с телеграммой “Граней”, надо было срочно понять, кто такой Виктор Луи, — являлась та же Ева, *deus ex machina*, и разъясняла: знала его по Карлагу, московский мальчик, предлагавший иностранцам обмен валюты, сомнительное поведение в лагере.

При самом начале не зря попросила Ева: только, чтоб *никто не знал*. Она определенно и именно имела в виду мою тогдашнюю жену Решетовскую. (Ева видела эту опасность несравненно раньше меня.) Однако веселые, дружеские, простецкие наши отношения с Евой не могли скрыться от жены. К тому ж наши непрекращаемые, никогда до конца не разъясненные дела все влекли нас пошептаться, отделиться, даже когда Ева приезжала просто к нам домой. Этого всего нельзя было ни достичь, ни объяснить иначе, как сказав жене, что мы занимаемся делами слишком серьезными, т е м и, то есть — *заграничными*. И Ева как будто это понимала. Но осенью 1965, когда уже разворачивалось следствие над Синявским, — Ева на скрытой встрече спросила меня: “Но ваша жена *ничего* не знает?” Да *прямо*, из моих уст, она не знала ничего, но имела глаза, но — видела. (Можно бы уверенно сказать, что только об участии Андреевых она не знает ничего, но и то: два года спустя у “Царевны” на квартире

при семи-восьми собравшихся, среди них и моя жена, была такая встреча: привезенная Евою молодая Ольга Андреева-Карляйль из Соединенных Штатов вышла со мной шептаться на балкон.)

Над Евой уже тогда нависла тень опасности и, мрачна, черна, висит по сегодня. Предчувствие не обмануло ее за много лет вперед: в 1973 на Казанском вокзале Н. Решетовская прямо угрожала о Еве, *на з в а л а* её, и только её одну, как пример, *кому* КГБ будет мстить за напечатанье "Архипелага". (Именно эта угроза и понудила меня высказаться открыто летом 1974 в интервью CBS.)

Правда, уже два года скоро с того. Перевисевшие тучи не дают грозы. Храни Бог!

... Шло через Еву и дальнейшее развитие с посланной пленкой "Круга". Она устраивала мои свидания то со стариками Андреевыми (те иногда приезжали в отпуск в СССР), то с Ольгой Карляйль, их дочерью, то с Сашей, их сыном.

В первых числах июня 1968 мы в Рождестве допечатывали "Архипелаг", в Париже бурлили революционные студенты, восхищенный их подвигами Саша (Александр Вадимович) Андреев приехал на недельную командировку в Москву с группой ЮНЕСКО. Весело звонил он Еве, что везет ей подарки, вот расскажет о славных студенческих волнениях, которым москвичи так обывательски не сочувствуют ("чего бесятся? пожили б у нас, узнали!", — а у нее враз составилось, лишая покоя и сна: не судьба ли? не послать ли сейчас с Сашею "Архипелаг" на Запад?

Об этих нескольких грозных днях она тогда же написала короткие заметки, потом сожгла их; в 1974, уже после моей высылки, снова написала, Аля вывезла их, теперь я использую. И вот: и до и после этого Ева много рисковала с моими делами, но по запискам так рисуется, что всех прочих опасностей она не ощутила в меру, была ли внутренне беспечна? Нет, это манера у нее такая беспечная, внешняя. Но "Архипелаг" занимал для нее размеры выше всех наших судеб, размеры самой России. Эта операция далась ей десятидневным сверхнапряжением, не забываемым и сегодня.

Сперва: не дать же “Архипелагу” пропасть. Остаться ему вечно здесь — погибнуть. Но в сашиных руках попасть на таможне — еще большая гибель и книге, и автору, и всем, — сколько имен в “Архипелаге” названо, еще живых! — и ему самому. И опять — Андреев, допустимо ли его просить? И — согласится ли? Зато — *руки чистые* : не корыстные люди, с русским подлинным чувством, не используют дара во вред. Упустить этот случай — а когда представится сходный потом?.. Ева уже загорелась и остановиться ей было трудно. Приехала в Рождество, вызвала меня в лес. Из заметок видно, как трудно ей решение давалось, еще и не далось вполне, — мне же, помню, говорила с такой убежденностью (всегда победоносная!), что быстро поборолла мои сомнения. И правда, такое стечение: в самый день окончания “Архипелага” (и с запасом дней на пересъемку пленки), — и в чистые руки! Как отличить свободу нашего решения от Божьего начертания? Решили, без юноши: да! Впрочем, вспоминает Ева, я сказал ей: “Действуйте, *только* если будет 99% на успех, не иначе”. В операции этот процент был, пожалуй, сильно не достигнут.

Саша принял вопрос обреченно-спокойно, он, оказывается, и предчувствовал, что его будут просить. — Тебе не страшно? — Страшно. Но я все-таки русский. — Через день предложил он такой вариант: киномеханик будет отправлять контейнер с киноматериалами их группы, его и попросить сунуть туда и капсулу с нашей пленкой, сказать: “Это рукописи моего деда. Вывозить их из Союза официально — слишком хлопотно. Помогите.” (Второй раз тень Леонида Андреева сопровождала мой рулон.) Но контейнер ехал даже не опломбированный, не охраняемый дипломатическим статутом. В Троицыну субботу должна была вся группа улететь в Париж. Механик должен был ехать поездом на Духов день; во вторник Саша надеялся встретить его в Париже и вынуть из контейнера сам.

И, пожалуй, все прошло бы спокойно, если бы в четверг вечером не возникло впечатление, что за Сашей следят. Мы приняли слежку как несомненность, и задало это нам лихорадки на пять дней. Сперва — самой Еве:

продолжать ли операцию или покинуть? Кто не жил в конспирации, даже не вообразит этого отягощенного изматывающего состояния, когда, может быть просматриваемый, прослушиваемый, в недостатке времени, при невозможности советоваться, иногда в изнеможении от подступающего провала, ты не можешь освободить свою волю от ответственности и должен принять решение, от которого зависеть будут и многие дорогие тебе люди — и *дело*. Решила: “принять бой за родину в этой доступной нам форме, и именно теперь!” После этого Ева дозволилась до московского родственника Сашу, наполнила разговор пустяками и вставила скороговоркой по-французски: “вчера вечером, когда вы возвращались домой, за вами следили”. (Уж если вплотную следят — то и эта фраза *взята* ...) Тот (хотя не знал никаких тайн) понял и на ночь увел Сашу ночевать в глухое место. Потом — размышления Евы с Люшей (пришла к ней брать капсулу). Чем больше раскладывали — тем казалось все опаснее. И, не выводом из того, а все своим напором чувства, Ева забрала “бомбу”.

На утро субботы под Троицу было у них уговорено так: в Кировском метро на условленном месте Ева встретила Сашу и передала ему — не “бомбу”, нет, — пакет игрушек для детей: если заметят и схватят эту передачу, то и — выкусят. Поговорили о вчерашней слежке. Сейчас как будто никого. Условились: во вторник утром, как только вынет капсулу из контейнера, Саша звонит в Женеву евиной сестре Катерине Ивановне (раненная в Сопротивлении, она стала инвалидом, и почти всегда дома), и та условную фразу передает по телефону Еве в Москву. А саму “бомбу” сейчас получит Саша не от нее, а на следующей станции, “Дзержинской”... (Все разыграно не хуже, чем у Климовой-матери.) Но когда на “Дзержинской” к Саше подошли сзади и взяли за руку — тот слишком вздрогнул. И передающий изменил решение: побыть с Сашей дольше, сделать поспокойнее. Он вывел его из метро на тихую улицу к своей машине. (И тут еще происшествие: какое-то такси стояло впритирку с поднятым капотом; тронулись — и тронулось оно вослед... Вослед?.. Не лишние ли подозрения? Отстало.) Не нарочно, так

получилось: делали круг перед Большой Лубянской, вокруг "бутылки" Дзержинского — водитель, руки на руле, объяснил Саше, как ему руку протянуть и взять "бомбу" из сумки. Передали "Архипелаг" на Лубянской площади!..

Итак, хорошо ли, худо, дело было сделано, оставалось ждать. Но тут-то и ослабли уязвленные нервы всех: неразряженные угрозы теперь давили тупо. Пленка ушла из наших рук — но никуда не дошла, висела без контроля и в опасности. Люша кинулась за мной в Рождество, я уехал в закрытую квартиру "Гадалки" (очерк 10), всегда для меня готовую, ключ у меня. Ева, чтоб не томиться праздничные дни в городе, уехала за город. А Люша звонила, не зная, Еве, а Гадалка из автомата звонила Люше, и отсутствие Евы пугало нас как уже начавшийся провал. (Теперь видно, что вся операция наша была любительски и шатко построена.) И на солнечном речном берегу солнце было Еве — черным пламенем. Беспомощное бездействие — тяжело.

Воротясь в Москву, Ева нашла путь дозвониться до того сашинного родственника по нейтральному телефону и выяснила, что Саша уехал без задержек. Сперва облегчилось, протянули понедельник.

Но вот уже вторник, середина дня, давно пора быть звонку из Женевы от сестры — а нет его, и нельзя позвонить первой самой: станет невозможен звонок с условным текстом.

Так промучились вторник — и отзыва не было. И похоже было — на разгром: уже читают "Архипелаг" на Лубянке.

Только в среду утром пришло освобождающее известие. (Оказалось: парижская забастовка, полуреволюция — парализовала связь из Парижа, пересеклась враждебно с нашим "Архипелагом"!)

В среду днем, уже не очень скрывая мою укрытую квартиру, друзья приехали освободить меня. Они ликovali.

Но обидно оказалось, что избранные *руки*, от пары к паре меняясь, смазали всю нашу отправку — и не выручила она нас в грозный момент. Саша Андреев, не имея

никакой советской тренировки, вел себя героически. Вадим Леонидович дрожал над этой книгой, даже закупил набор шрифтов, чтобы быть самому первым издателем "Архипелага" по-русски. А дальше у Карляйлей влипла наша капсула — и многие годы американский текст "Архипелага" не был готов (об этом в другом месте). Стоило нам так торопиться, рисковать и гордиться! — все равно как и не отправляли. Лежал "Архипелаг" на Западе — и как будто не лежал. Понадобилось делать немецкий перевод, Бетта (очерк 12) попросила у В. Л. копию русского текста от дочери — он перепугался: разгласится (а он же — с советским паспортом), — и пришлось нам всю отправку "Архипелага" из СССР — по-вторять, очень тяжело и опасно. А не отправили бы снова, весной 1971, "Архипелаг" на Запад, то к моменту провала в 1973 у нас не было бы немецкого и шведского переводов; а русское издание, недоступное западному читателю, прозвучало бы как одиночный пушечный выстрел в ночи.

В последние годы Ева уже перестала быть единственной нашей связью с Западом (но то и дело что-нибудь *перекидывала* с изящной легкостью), однако неистощимо находила, в чем еще может быть полезной, на это у нее острый был взгляд. Вела себя Ева до конца по своей привычке и смелости — нисколько не прячась, не прикрывая дружбы (с Алей она была тесно дружна, несмотря на разницу в возрастах), открыто звоня и приходя хоть в самые тяжелые осадные моменты.

А после нашей высылки Ева — первая же из подозреваемых (да просто засеченная ГБ, облепленная доносами) — не только не замерла, не затихла в тот год, но с прежней самоуверенной отвагой вела свою свободную жизнь внештатной переводчицы, встречалась с иностранцами, а меж ними — с *нашими*, и, в месяцы перебоев, смены лиц, высылки корреспондентов, нарушения каналов, — возобновила с новой энергией пересылку нам целых сумок и чемоданчиков из архива. Теперь, весной 1975, это куда пристальней проглядывалось, куда опасней прежнего, и иностранцы робче. А с конца 1974, после

выхода “Из-под глыб”, открытую почту нам Москва обрубил в оба конца (ни даже открытку ко дню рождения ребенка не пропускает), — так Ева взяла на себя и нашу “левую” связь со всеми друзьями.

С осени 1974 в культурном отделе французского посольства появилось новое лицо — корсиканка Эльфрида Филиппи. Я никогда ее не видел, Ева так описывает: “Красивая, стройная, когда любит — обаятельная, когда не жалуется — ледяная. Мы подружались с первого взгляда, сразу в чем-то синхронны, без слов. Ее быстрая решительность, готовность испытать все страхи, опасение подвести кого-нибудь, живой интерес к России... Пронесла в опасных местах, обезоруживая улыбкой и грацией. Гениально быстра: топтун не успеет рта разинуть — а уже все сделано.” Так, хотели пакет для меня разделить на три поездки, она взвесила рукой, сказала: “беру все сразу!”, очень тем облегчив. (С ней вместе перебрасывала кое-что и Б. Л., — каждой паре помогающих рук спасибо.)

Этот огромный пакет от Евы и через Эльфриду Степан Татищев (см. очерк 13) принес нам в парижскую гостиницу D'Isly на рю Жакоб, на мансарду — и тут произошло совпадение более чем символическое, как умеет ставить только История. Принесший ушел, на диване грудой еще лежала неразобранная посылка от Наташи Климовой-младшей, — а по той же узкой чердачной лесенке через две минуты к нам взошел Аркадий Петрович Столыпин — тот маленький сын Столыпина, едва не убитый во взрыве на Аптекарском острове Наташей Климовой-старшей, — да и пришел ко мне обсудить эскиз моей главы о Петре Столыпине. С этим милым человеком мы сидели дружески, а рядом лежали пакеты, так же дружески присланные от дочери несостоявшейся его убийцы.

Так за две трети столетия повернулась Россия. Дочь с тем же талантом и порывом, как мать, теперь работала и рисковала в противоположную сторону. (Хотя и не свернув далеко с эсеровского стержня мышления: всё проклиная и Столыпина, и видя в советском строе прямое продолжение царского.) Все силы здоровой России вот уже соединились, вот уже действуют заодно.

(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.)

Осенью 1976 Еву даже выпустили в Швейцарию к сестре. Она никак не могла просить в советском посольстве визу в Штаты: и запрещено менять страну, и ясно будет, что — к нам. Но с нашей помощью (американцы выдали временный вкладыш в паспорт) счастливо приехала к нам в Вермонт, жила у нас весной 1977. Она тяжело переживала, что ею привлеченная Ольга Карляйль — вывихнулась, и книгу враждебную пишет, но и все уверяла, что ерунда. Читала “Невидимок” — и попросила этот 9-й очерк с собой (оставить копию в Париже — и еще взять в Москву, прочесть друзьям-Невидимкам, тогда сжечь).

Объясняя свой переезд в Россию в 1934: “Я — не на муки ехала, что вы, я терпеть их не могу, я ехала на радость. Но перетерпленные муки не притупили моей любви к России, а обострили ее.” А сейчас заманная перед ней стояла возможность: остаться на Западе навсегда. Она долго мучилась, долго выбирала. Ее решающее письмо передает, я думаю, лучше, чем мой пересказ. [45]

ДОБАВЛЕНИЕ 1986 г.

Наталья Ивановна и дальше продолжала конспиративные операции, и даже с отчаянностью. С 1975 и по 1984 год на ней держался не только весь наш скрытый почтовый и книжный канал с друзьями в СССР, но и важней: помощь нашего Русского Общественного Фонда в СССР, — и вряд ли без ее смелости и находчивости могли бы мы наладить такую полнокровную артерию. (О работе Фонда когда-нибудь кто-нибудь, я надеюсь, напишет подробней.) ГБ изо всех сил следило за ней — и все никак не поймало.

Н. И. в последние годы болела панкреатитом. В конце августа 1984 она внезапно почувствовала сильные боли, легла в больницу — и через неделю умерла. (Перед смертью успела передать для нас: “Сейчас надо на время замереть!” — видно чувствовала, как грозно сгущалось. Ускользнула из лап — может быть, в последний момент.)

Гебешники в штатском в немалом числе толпились на ее похоронах, высматривая. Из них же несколько пришли

описывать квартиру под видом “стажеров нотариуса”. Двоюродному брату Н. И. на допросе сказали: “Мы всё о ней знаем, давно ее пасем, и знаем, где лежала у нее каждая вещь.”

Хвастают! Знали, да не всё.

Неуловимая! — ушла от них... И с поздним оскалом лязгали о ней в газетах.

[45]

Париж, 29 октября 1977

Дорогой А. И. ! ... Ваши хорошие слова о моем возвращении ввергают меня в смущение — чуть неловко, словно люди тебя переоценивают, а ты помалкиваешь... А ведь все получилось благодаря Вам, представьте себе. Ваша помощь помогла мне прожить на Западе год, почти ни от кого не завися (ни за что бы иначе не выдержала). Из-за Вас мне выпало никому не достающееся счастье — спокойно, свободно, сильно, глубоко *выбрать*, с сознанием, *не* обремененным ни принципами (Бог с ними, ни разу не понадобились), ни “чувством долга” (противопоказанная мне категория), ни даже сознанием пользы, которую могу принести (даже к себе не отношусь утилитарно). Год назад золотой осенний Париж вызвал чувство: ну вот, я в своем городе и никуда из него не уеду. Ан не получилось. Полная свобода, казалось бы, и “струя светлей лазури”, и “луч солнца золотой”, а уж я ли не ценитель! — а в сердце живая рана — клубок из любви и ненависти к великой, страшной, замордованной, растоптанной, бессмертной, “желанной”, “долгожданной”.

... Сегодня бродила по коридорам метро с пакетами для Москвы, и вдруг услышала низкий русский голос у одного из тех нищих, что сидя на полу поют с гитарой. Смотрю — молодое русское лицо, и пел он “Полюшко, поле...”. Пел хорошо, с тоской, многие останавливались. Я же постыдно плакала, отвернувшись к стене, плакала с такой горечью, словно год мне не давали выплакаться. О чем? О проклятии, висящем над нашей страной, о том, что люди — молодые, старые, хорошие, всякие — бегут, бегут, и каждый прав для себя, для своей единственной жизни. А “Россию — жалко”.

Казалось бы, гнет и страх испепелили даже само понятие свободы и достоинства, но тот же неумолимый пресс над духом неожиданно *удесятерил* потребность в свободе и достоинстве. Не так лагерь, как русская "воля" научила меня ценить как ничто на свете *свободу* (жить, двигаться, мыслить), которой мы так страстно добиваемся. И ради этой страсти, этой напряженной жизни, в которую мы — "акробаты поневоле" — тщимся вместить свободу и достоинство, ради этого я, собственно, и возвращаюсь. *Да, мне лучше жить там*. прислушиваясь к ночным шагам по лестнице, судорожно унося утром из дома все взрывное после долгого ночного звонка в дверь (потом выяснилось — ошибка скорой помощи), жить непрерывно обманывая "всевидящее око" (и ухо), и хоть частично используя то книжное богатство, которое так обидно-легко плывет ко мне в Европе, хоть частично удовлетворить вокруг себя неиссякаемую жажду к слову правды. Может быть, *потому* так ревниво блюла [во время западных путешествий — А. С.] формальную непорочность паспорта, отметая возможность формального препятствия вернуться.

Вероятно, это мое последнее к Вам письмо, и потому попрошу — если хорошо ко мне относитесь, то не прикрашивайте меня. Помните, какая я жадная до жизни во всех ее видах, как я противоречива и *не* мучаюсь от этого, какая я сибаритка, не избегающая соблазнов, а бегущая им навстречу. Правда, я благодарна судьбе за жизнь, за необыкновенные встречи, из которых ни одной не забываю. Вы, в частности, были одним из моих великих соблазнов, сразу в первом разговоре осознанным и, как Вы помните, я Вас не отпустила, пока Вы меня не "услышали".

Все приветы в Москву конечно передам, о нашей встрече, однако, мало кому смогу сказать. *Очень* будем ждать малоформатных книжечек. Плохо с каналами — кому охота долго ходить по канату в чужой стране, — но верю в чудо личного контакта, да и жизнь набита чудесами, моя во всяком случае, настолько, что я спокойно на них рассчитываю.

Обнимаю Вас и помню всегда.

Н. Столярова

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

160

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 160

III — 1990